

Владимир Шапко

Река

повесть

16+

Владимир Шапко

Река

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Шапко В.

Река / В. Шапко — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Повесть о Сашке Новоселове, чубатом сильном парне, только что начавшем работать на реке. Сначала грузчиком, а потом матросом на барже.

Содержание

1	5
2	8
3	11
4	13
5	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

1

...Он торопился, неуклюже бежал к перекрестью двух улиц. Бежал к своей «подпольной» жене и двенадцатилетнему сыну, которые стояли там в низкой лаве закатного солнца. Он был с двумя продуктовыми сумками, с рюкзаком, стучающим по спине. Он хотел помахать им рукой, крикнуть. Но бег его вдруг начал замедляться, раскачиваться, пьянеть. Бросив сумку, он стал хвататься за узел галстука, не сводя с жены, с сына пропадающих глаз. И уже мучительно запрокидывался, уже мучительно падал в рассыпающийся и тут же плотнящийся черный пух, высоко вскидывая вторую сумку, осыпаясь апельсинами... Он не добежал к ним, не смог добежать...

Женщина летела по улице будто сжатый черный крик. А оставшегося мальчишку точно ударяло о солнечную лаву, он качался в ней, как в волнах, захлебывался, пропадал...

...Отец лежал на столе. Длинный этот стол притащили от соседей. Но все равно он был короток отцу, ноги в новых носках торчали за край. Дядя Коля-писатель пытался сейчас натянуть на ноги новые тапочки. Одной своей рукой. Тапочки не налезали. Ноги казались куластными, и словно бы тоже не отца. Саша, помоги! Сашка дернулся, но в руку вцепился брат Колька. Ну, что же ты? Повернувшись стекла очков от слез точно были заткнуты тряпками. Ну! Сашка, выдернув руку, подошел. Когда натягивали тапку, коснулся заголившейся ноги отца. Схватился сразу за нее. Обеими руками. Нога была как будто замороженной, сырой, как будто отходила от мороза... Отступил назад. Колька цапнулся за руку. Вытаращив глазенки, смотрели.

Константин Иванович лежал с закинувшейся головой, со сложенными на груди руками. И почему-то только на левой руке посинели ногти. Длинные пальцы казались выводами от его сердца. Тупиковыми проводами с засинелыми лампочками... Чудились выпавшим мозгом его выщипанные белые волосы...

Дядя Коля приспособив свертнутое одеяло под запрокинувшуюся голову друга. Сашка снова бросился. Подсунули. Дядя Коля опустил голову на этот валик. Но голова так и осталась запрокинутой. Знобясь, Сашка торопливо приглаживал волосы отца. Так приглаживает мать волосы ребенку.

Пришел и стоял молчком Малозёмов с палкой. Низенький, в кудлатой бороде. Работавший когда-то тоже в уфимской газете. Знавший Константина Ивановича. Шофер. Давно на пенсии. Смотрел на мертвого спокойно, даже равнодушно. Как смотрит привыкший могильщик. Или музыкант похоронного оркестра. Просто жмур лежит. Жмурик. Которого скоро потащат. И нужно будет вышагивать сзади, равнодушным поцелуем прикладываться к своей альтушке. Выдуть из нее привычную рафинированную душераздирающую скорбь... Не сказав ни единого слова, ушел.

Сидели рядком. Как на посиделках. На стульях у стены. Мужчина и два пацаненка. Ждали, когда Антонина с коновозчиком привезет гроб. Дядя Коля все сокрушался об орденах. Которых нигде не нашли. Даже орденскую планку. Новый костюм серого цвета одет, а орденской планки на нем нету. Как же так? Как будто и не было их у него. Как будто и не воевал. Сашка сказал, что, наверное, в Уфе. На его квартире. Мать обещала съездить. После похорон. Поговорить с хозяйкой квартиры. Должны там, наверное, найтись...

...Точно охраняющая сама себя семейка, стояли на бугорке отдельно от всех трое: пожилая, присадисто-квадратная женщина в черном и два ее сына. Взрослые мужчины. Женщина поджимала губки, и черные живые глаза ее исподтишка поглядывали на провожающих, свесивших головы возле гроба. Траурная кисея ее сыро поблескивала. Как черная живая икра. Сыновья тоже были в черных костюмах. Обоим было уже под сорок. Один торчал над мате-

рю какой-то уклончивый, вроде свилеватого гвоздя, выдернутого из доски, другой – толстый, низенький, сильно потел, поминутно отирался платком.

Новое кладбище было голым, в стороне от старого, зеленого, лезло в гору. Всего одно дерево росло тут... Когда прилетал ветерок, береза словно вставала на носочки и начинала трепетать. Как балерина. Неподалеку от нее, на выкошенной полянке по стерне ходил маленький Колька, брат Сашки. Выбивал, выжимал ботинками из знойной стерни фонтанчики мелких кузнечиков. Калерия, мать, кинулась, треснула по затылку... Медленно, скорбно вернулась ко всем, прошла опять к гробу, к сестре возле него.

Малозёмов-пенсионер не подходил к скорбящим. Зачем-то проверяюще трогал клюшкой оградки и памятники. Как будто жил здесь. Среди них, этих памятников. Приклоненный, в кудлатенькой бороде, мордочкой напоминал замшелую избушку.

Пока открытый гроб стоял на специальных кóзлах довольно высоко, люди говорили покойному какие-то слова. Запомнился всем грузный солидный мужчина, приехавший из Уфы от редакции. Делая перерывы в своей прощальной речи, он по-хозяйски, точно столяр с метром, раскидывал по гробу руки и осматривал поверх очков всего покойника. И сопел. Когда же говорил дядя Коля-писатель, Сашка видел, что правое безрукое плечо у него высоко вздергивалось, перекашивалось. Будто у поджариваемой утки!.. Потом заколотили крышку, на веревках опустили гроб вниз. Гроб точно разом исчез с земли. Провалился. Люди с облегчением начали кидать свои горстки земли и отходить. У матери глаза горели медно. Как у овцы. Сашка вцепился в ее руку.

Присадисто-приземистая подошла последней. Бросив горстку, вытирала платочком ручку. Кукловые волосы ее просвечивали. Рядами. До красной кожи.

Начали закапывать. Застонал в последний раз оркестр. И через минуту музыканты смолкли... На кладбищенский взгор налетал ветерок. Улетал в небо как в парус... Лопатами могильщики споро выделявали угластый черный строй могилы. Прихлопывали его, проглаживали сырую землю... Отошли.

Когда уехала машина с приседающими и цепляющимися за борта музыкантами, когда все стали спускаться к городу... толстяк из тройцы, что простояла на бугре, догнал и тронул Сашку за плечо. Улыбался, с интересом разглядывая мальчишку. «Мы ведь с тобой сводные братья... Как тебя зовут?» Протянул деньги. Как аптекарские истрепанные сигнатурки. «Вот, возьми. Передай матери». Сашка взял. По-прежнему молча. «Неразговорчивый ты однако...» Неуверенно толстяк опять тронул Сашку за плечо. И отошел.

Деньги дал еще пенсионер Малозёмов. Девять рублей. Трешками. Он тыкал ими Сашку в бок, не глядя на него и ничего не говоря. Будто Сашка обронил их... «Спасибо», – тихо сказал ему Сашка.

Дома после поминок в столовой сын сперва отдал матери деньги Малозёмова. Та устало удивилась: надо же! Вот уж воистину: от кого не ждешь! Дошло до денег толстяка. Сашка протянул. Сказал от кого. «Зачем ты взял?! – сразу закричала мать. – Зачем?!» Бросила деньги на стол. Сашка молчал. Денег было сто рублей. Четыре двадцатипятирублевки...

...Между понтонами дебаркадера, как дервиш, вихлялось вечернее солнце. Распятые на воде, поколыхивались у берега тени, словно побитые летучие мыши. Коля-писатель и Сашка сидели на скамейке. Ждали речной трамвай.

Дядя Коля достал из кармана маленькую книжицу. Прикусив колпачок, вывинтил авто-ручку. Склонился к книжке. Подумал и написал в ней левой рукой: «Не успел я, Костя, преподнести тебе эти первые напечатанные свои стихи. Оставляю сыну твоему, Саше. Прости, Костя. Прощай». Опять прихватив колпачок зубами, ручку завинтил, вложил в пиджак. Подал стихи Сашке.

Далекое, надрезанное темной плоской тучей сочилось в реку закатное солнце... Очки Коля удерживал в руке за дужку. Словно уставшее неостывающее свое зрение... Приобнял мальчишку. О щеку его потерялся мокрой колючей щекой. Поцеловал. Пошел к дебаркадеру, к подваливающему трамваю. Сашка остался стоять возле скамейки... И постукивал о прибрежные камни палкой Малозёмов. Точно и здесь выискивал попрятавшиеся могилы. Лицо-избушка его было сосредоточено...

...Лет через пятнадцать, взрослым, когда работал уже в Москве, Новоселов рассказал однажды о дяде Коле Серову. Своему напарнику и другу. Достал со дна чемодана тоненькую пожелтевшую книжку. Оба склонились над ней за столом у света лампы. Потом два шофера молча курили. Каждый думал о своем. Общежитская, с жирным инвентаризационным номером на колпаке, лампа высвечивала раскрывшееся на столе стихотворение: «Сквозят осенние леса, / Пожухнул пряный лист. / Перевернулись облака, / И горизонт весь чист. / Тропой неспешною идешь. / Два домика вдали. / Два землемера-журавля / Стоят с краёв стерни... / Потом под дулом вахлака / Перелетают, скачут по стерне, / Всё намеряя впрок... Опять стоят. / Не могут в облака – им кажется: / Не выполнен земной урок... / Потом за выстрелом ломаются они, / Как будто долго накрываются одним крылом в стерне... / И потрясает лапы-мерки в небе пьяный жлоб / В громоподобной тишине...

2

...Антышев лежал на кровати, закинув руки за голову. Новоселов шел по проходу мимо. Эй, салага! Новый! Новоселов остановился. Как зовут? Новоселов сказал. Ишь, «Александр»! Я сегодня в самоволку рвану. Вон, постирай носки. Дырявые носки дуплами смотрели на Новоселова со спинки кровати. Ну! Недоуменно Новоселов оглядывался по ждущим, ухмыляющимся лицам. Повернулся, пошел к своей кровати. Стой, падла! Антышев взметнулся, подошел. Я тебе чего сказал, сучара? Слушал самого себя. Нижнюю челюсть выдвинув. Как забрало. Ну! Новоселов начал бить так, что еле отняли. Вечером в тесном предбаннике туалета навалились четверо. Новоселов оборонялся. Бил. Дедку тарабанькались мордочками по кафелю, мазали его кровью. Вырвался в умывальную комнату. К людям... Но «люди»... при виде проходящего парня с разбитым лицом или разевали рты, или сразу отворачивались к умывальникам, прятали головы, забеливаясь нижними рубашками. Ударенная обрезком трубы рука уже ныла, напухала. Прихватывал ее правой рукой. Начзаставы, капитан Лихобабин, прохаживался перед строем. Начищенные носки сапог его были луповы. Без году неделя, а уже номера откалывать! А, рядовой Новоселов? На смотровую вышку зачем-то полез. Оттуда упал. Весь разбился. А? Присяга не принята. Лихобабин смотрел. Забинтованная под гимнастеркой рука Новоселова свисала – как ляля вниз головой. Вы что, Тарзан, что ли, какой? Зачем лазить? Раньше времени? Лейтенант Муоржопов, пять суток ареста! Пусть подумает! Марш! От азиатского солнца по вечерам в решетку под потолком словно вставляли красное дуло. Еще раз избили. Рассекли пряжкой голову. Стал бегать, бить по одному. Гонялся с чем ни попадя. Дедку бежали, прыгали на заборы. Ну, уж это ни в какие ворота! А, рядовой Новоселов? Луповые сапоги нервно ходили перед строем. Тихо у нас было до вас, тихо. Лейтенант Муоржопов! Десять суток ареста! Марш! Антышев ныл, размазывал сопли, клялся дружкам. Кончу подлюгу! Кончу! Сжимал кулачок. Гад буду! И пырнул-таки! Когда вышли после кино. Всадил нож сзади! Тут же отскокнул... Прежде чем пойти в медпункт, Новоселов ударил, сломал ему челюсть. Пошел. Шагов через десять упал. Вперед лицом. С ножом в спине. Духарной Новосел! Духарно-ой! Забегали, забазланили, искали фельдшера. В госпитале Новоселова прооперировали. Успели. Потом прямо в палате, лежащего, допрашивали. Оставили наконец в покое. Только через три месяца вернулся на заставу. Осенью. Антышева давно увезли, судили. Исчез и Лихобабин. По вечерам в свободное время подолгу сидел на пригорке, смотрел на рушащиеся азиатские солнца. Сидел до тех пор, пока горнист не начинал пить затухающую зарю...

...К календарному 67-ому, к семнадцати своим годам, Сашка Новоселов ростом вымахал в натуральную орясину с большими неуклюжими руками. Курил. Уже начал бриться. Волосы его на голове цвели, имели вид оранжереи. Школу, девятый класс, с открытием воды на Белой – бросил. Пошел работать. Грузчиком на пристань. Таскал мешки сырой соли с сырых деревянных барж. Или на скрипящих березовых палках сносил резанные кругляки дров. Антонина настаивала на вечерней школе. Стал ходить. К пожарникам и милиционерам. До армии хотя бы. Брат двоюродный Колька восемь классов окончил на сплошные тройки. Но дальше полез, в девятый. Посмеивался: работяга!

Месяца через три взяли матросом на баржу. Барж было две – «Бирь» и «Сим». Приписаны были к СМУ-4. Обе самоходки. Сухогрузы. На «Симе» шкиперничал известный всему городу бабник Ценёв. Володя. Постоянный посетитель «Дома инвалидов». Бузил по ночам с ними в гулком трюме «Сима». Сухогруз «Бирь» ходил под началом Дяди Толи Макарова. Вторым членом команды – моторист Кольванов. Сашка попал к ним. Стал плавать. Чаще отправлялись встречь Белой, в Уфу. Иногда – по течению, на Каму, в Дербёжку. Цемент, пилованный лес, подтоварник, кирпич на палубе.

Макаров, молчун по природе, любил иногда устраивать «представления», «театры». Когда подваливали, например, к пристани в Дербёжке – кричал в рупор на весь берег, высунившись из окна рубки: «Матрос Сашка! Бей носовую кнехту! Мать ее, и так далее!» Будто пожар на судне, катастрофа. Сашка «бил». Бил восьмерками. То есть причальный трос быстро мотал на кнехт. Сломя голову мчался на корму. Макаров выпуливался из другого окна – резал в спину: «Матрос Сашка! Вторую кнехту бей! На корме!» Резко убирал себя и рупор. На причале улыбались: Дядя Толя Макаров пришел! Из Бирска! Кричали ему, приветствовали. Макаров тут же выскакивал из рубки и вставал на палубе во фронт. Натуральным образом. Криков, казалось, не слышал. Усы его были как герб швабры. Колыванов-моторист глушил машину. Тоже выходил. Стоял на корме рядом с Сашкой. Имел унылые гуттаперчевые руки черта на пенсии.

Когда через два дня отваливали, в рубке ворочал доверенное рулевое колесо Сашка. Сам Макаров опять стоял на палубе. Опять во фронт. Недвижим был – как увозимый экспонат. Дядя Толя пошел! Пока, Дядя Толя! Приходи снова! Макаров не отвечал. На борту баржи уныло висели колывановские руки. Прощально поматывались.

Случалось, «Сим» и «Бирь» стояли у берега в караван. В Бирске. В порту, как говорят, приписки.

Шкипер «Сима», Володя Ценёв, выходил утром из кубрика в обширнейших трусах ниже колен. Шланг открывал прямо с борта. Пузыри убежали в пене стаей пожарников. Ценев смотрел вдаль. Тельняшка на шкипере была как консервы. Консервы, естественно, моря. Обратно на пузо подвязывал бечевкой черные эти свои юбки. Затем упирал руки в бока и смотрел на почти пустую палубу своего сухогруза. Обритая голова Володи имела вид тяжелого снаряда. Прикидывала, наверное, чего бы еще сегодня с палубы унести и пропить.

Ближе к обеду надевал на голову мичманку, поверх тельняшки пиджак, закладывал два денатурата в карманы и шел в город, в артель инвалидов. (В царство полиомиелитных ножек, если пояснить.) Отдыхающие в перекуре бичи кричали из развалов дров: «Володя пошел! К Тапкам! *Тапочки шить!*» Вскидывали ему портвейными. Тяжелой рукой Володя помахивал Макарову и Колыванову. На «Бирь». «Привет, перд...ки!» Колыванов смотрел с борта на куски солнца внизу как на плавающие у баржи разрозненные зеркала. Макаров неподвижно стоял. Ни тот ни другой Ценёву не отвечали.

Поздно вечером под восторженные крики бичей Володя всходил на «Сим» с двумя Тапками под мышками. Громко пел. Тапки повизгивали, болтали белыми ножками. На палубе, поставленные на ноги, торопливо колыхались за Володей. Как будто ехали на осьминогах. Володя брал их под одной и складывал куда-то в трюм. И внутри начиналось что-то невообразимое – будто сам Водяной со дна реки начинал дуть в баржу как в рог: бзэу-у-у-у-у!!!

Ворочаясь на своей шконке, матерился Колыванов. Сашка порывался пойти посмотреть. «Куда, матрос Сашка? – размыкал уста Дядя Толя Макаров. Приказывал: «Назад!» Лежали. Слушали. Когда на «Симе» чуть затихало – пацаны с берега сразу начинали кидать камни. В железный борт баржи. Чтоб скорей продолжили... «Да ятит вашу!» Колыванов срывался, выбегал. Теперь уже разгонять пацанов...

Случались у Ценёва и накладки. Однажды он шел солнечным утром от Тапок. Из их общежития. Был доволен собой, бодр. Всю ночь обследовал у них флору. И, как выяснилось через минуту, еще и фауну. Потому что, не дойдя до судна, зачесался. Удивленно отметил: поймал! Сразу задышал, раздувая ноздри:

– Ну, стервозы! Ну, я вам сейчас! – Помчался назад громить весь Дом инвалидов.

Промасленные гуттаперчевые колывановские руки висели на борту баржи: «Поделом тебе, козел!» Дядя Толя Макаров просто не видел никакого Ценёва. Тем более, бегущего. Недвижно стоял. Сашка, пряча улыбки, драил палубу шваброй. Постепенно подобрался и к

ногам Макарова. Макаров стоял как вкопанный. «Дядя Толя, отойдите же!». Макаров обиженно сделал шаг в сторону.

Потом ели уху из килограммового леща, купленного у рыбаков на Каме. Камский лещ вкуснее, говорил Колыванов, чем бельский. Верно, Анатолий? Угу. Сашка им подливал. Сам наворачивал. Корму продувал ветерок. Воду несло. У борта баржи выворачивались водяные букеты.

3

... В обхват, точно рулон толя, парень тащил через дорогу худенькую старушонку в потертом пальтеце. По ногам его ударялись безжизненные ножки в бумажных чулках со съехавшей на колено круглой резинкой. Валенки на старушке были плоски, казались новыми, пустыми. На тротуаре парень медленно приотпустил её на асфальт. Она обхватила его руками и замерла, готовая сползти. Москвичи шли мимо. Своей дорогой. Новоселов ударил по тормозам. Самосвал заюлил и стал у обочины. Слушай, друг. Вон машина. Давай в нее. А то чего же так? Парень повернул лицо. Глаза его были красные после слез, мелкие. Поблагодарил. Сказал, что недалеко уже. Вон, в общежитие. Московская многоэтажная общага стояла как картотека. Метрах в пятидесяти. Так давай вдвоем. Или я – один, на руках? Далековато все-таки? Привязанно задергался вдруг голосок на груди у парня: ничего, милый, ничего. Я лёгонькая. Спасибо. Обойдемся. Новоселова как ударили. А парень уже волок мать дальше. И снова останавливался и приотпускал, и она висела на нем, обхватив ручками... Самосвал мчался по длинному спуску вниз. В экране перед Новоселовым болтались вдаль зажженные гирлянды фонарей. Луне влимонили хорошенькую залепуху...

... Вечерняя школа ютилась в одной из комнат пожарной. По вечерам в школе лупили глаза милиционеры и пожарники. Сашка старался не отставать. (В чём? – Ну, вообще.) Маялись тут еще две счетоводки, Лиза с Галей, и монтер Кузьмин.

Заглядывал начпожарки капитан Меркидома. (Фамилия такая – мерок нету, оставил дома.) Пожарники сразу выпрямлялись. С ними заодно и милиционеры. «Надеюсь, всё в порядке, Ирина Сергеевна? Вы только скажите!» Учительница поспешно заверяла, что всё хорошо. Стараются. Очень стараются, товарищ капитан. Опускала глаза. Указку у груди держала будто винтовку во время присяги. «Ну-ну». Меркидома уходил. Строгий какой, говорила Ирина Сергеевна. Пожарники радовались: он такой! Ух!

После занятий торопливо теснились в дверях, как бараны. Сашка провожал Ирину Сергеевну к общежитию пединститута. Близорукая учительница спотыкалась на темной улице, хваталась за Сашкину руку. Поглядывала на далекий фонарь. Очки ее словно всхлипывали. Сашка брал ее руку в свою. Потная ручка подрагивала. Я не боюсь, Саша, я не боюсь. Ты не подумай. Но – напугали. В Уфе еще, Саша, в Уфе! Сашка успокаивал. Милиционеров в классе двенадцать человек – и бояться ей? Так ведь в другую сторону милиционеры побежали, в другую сторону! Саша! Сашка смеялся.

Школа эта в пожарной вообще-то считалась заочной. Была консультационным пунктом Уфимской заочной школы. Управлялись в ней пожилой математик Бородастов и Ирина Сергеевна. На английский манер языки курочили с двумя студентами-практикантами. Из местного пединститута. Занятия давались два-три раза в неделю. Бывали и днем.

Как всегда, Меркидома грозно заглядывал. Приводил в замешательство Ирину Сергеевну. Пожарники дружно старались ручками в тетрадках. «Вы только скажите!» Во дворе пожарной Меркидома ходил взад-вперед. Что-то постоянно нудило его, не давало покоя. Точно застарелая болезнь какая. Скажем, геморрой. Резко останавливался, смотрел на верх деревянной каланчи...

– Боец Семенов!

Откуда-то там с полу с сумасшедшим вытоптом сапог взметывался Семенов. Мотался как заблудившийся в поднебесье воздушный змей.

– Спишь?

– Никак нет, товарищ капитан! – хрипело по ветру. – Смотрю.

– Ох, заспались, бычьи дети! Ох, заспались!

Меркидома шел в часть.

За полной уже неспособностью к ученью трое дядьков-сержантов в школу не ходили. Получили послабление. Меркидома начинал бодрить их на плацу. Взбадривать. Бегом! Марш! Сорочалетние дядьки откинуто, натужно бежали, задками проваливаясь в вислых галифе. Ох, отъелись, бычьи дети! Ох, заспались! Кру-гом! Марш! Дядьки, опять откинутые, рвали в противоположную сторону.

Сашка стоял у края плаца (опоздал в школу), с интересом смотрел. Дядьки пробегали. Шеренгой, трое. Вскидывая сапоги, старались чтоб как по линейке. Сентябрьское солнце жгло. Меркидома снимал фуражку. Протирал внутри фуражки платком. Одинокая прядь через лысину напоминала вялую заблудившуюся водоросль на Белой. Бодрей, шибздики, бодрей! Вдруг видел на краю плаца малую каланчу. (Сашку.) С уже готовым гнездом для аистов! Ну-ка иди сюда. Сашка подходил. Высокий, стоял перед маленьким Меркидомой. Меркидома задирал голову, с восторгом разглядывал парня. Солнце дымило в волосах орясины *как полностью заразный пожар!* А, шибздики? Полностью заразный! Шибздики раскрывали рты. Точно тоже впервые видели этот заразный пожар у Сашки на голове. А Меркидома уже расспрашивал: кто, откуда, где работает парень, когда в армию. После ответов Сашки, как дело вполне решенное, деловито только уточнил: после армии, надеюсь, к нам? Не-ет, стеснялся увалень, я, наверное, в шофера. А может, на реке останусь. А у нас что – шоферов нет? Мы что, на таратайках вылетаем? Рука начальника тыкала в три сквозящие бокса с краснозадыми пожарками и шоферами при них. Это тебе не машины, это тебе не шофера? Нет, улыбался парень. Э-э, большой, а дурень. Будешь там в Москве (почему в Москве? как в воду глядел?) тили-пили, тили-пили. Перед каждым светофором. Перед каждым милиционером. А здесь включил сирену – и рви! Только ветер в ушах! Ни одна собака не остановит! Не-ет, товарищ капитан, смеялся Сашка. Меркидома оглядывался: каков дурак! а? Дядьки в поддержку ему смеялись. Он, Сашка Село, такой! Упрямый! Ух!

4

...Семеро джазовых музыкантов на сцене были органичны. Играли моментальную живую музыку. Трое работали впереди. После того, как показали тему, у них пошли импровизации. Как торопливый голодный аист, у одного во рту напитывался саксофон. Пассажи, выгоняемые из раструба у трубача, напоминали гонимые кабриолеты. Тромбон с кулисой больше походил на импотента. Который не столько играет, сколько пугает. Запугивает. Впрочем, перестал болтать зря кулисой – и тоже закатился: губная трель его была как паяц. Ритмически долбали клавиши рояля дисциплинированные пальцы-хулиганы пианиста. Тут очередь контрабаса подошла – и будто большой тяжелый немтырь забубукал на сцене. Пытался что-то говорить, бедняга. Следующий. Ударник. Сидел. Спокойно бил. Вдруг начал яростно выпутываться, вырываться. Точно из накидываемых на него вожжей. Как будто он – на козлах кучер. И так на целую минуту! И остальные музыканты с уважением прослушивали его с повернутыми к нему ушами. Откуда-то вдруг вышел еще один – с сакс-баритоном, будто с громадной сосательной конфетой. Начал сосать его словно развернутый золотой леденец. Будто какую-то громаднейшую золотую унцию! (Да что же это такое!) И вновь играли дружный быстрый унисон уже четверкой впереди, опять долбёжно подбиваемые ритм-секцией и роялем. На таких концертах положено хлопать, шуметь после каждой импровизации. Всячески показывать свой восторг музыкантам. И Ольга (тоже) кричала, топала, визжала со всеми. На удивление, пыталась даже свистать. Как Соловей-разбойник. Засовывая в рот почему-то только три пальца. Новоселов смотрел, не узнавал подруги. Так смотрят на ренегата. На отступницу. На человека, вдруг перескакавшего в соседний лагерь. И это после Моцарта, Бетховена, Чайковского. После серьезнейших концертов в филармонии. В Большом зале консерватории! О, боги!..

...Антонина перелицовывала весь побусевший ворот Сашкиной рубашки. Горбилась у стола под уже включенной лампочкой с абажуром. Телевизор блукал в углу. Как глазная ее болезнь. Временно сброшенная туда катаракта.

Сынок втихаря покурил в раскрытое окно, оставив в комнате подвернутую под себя левую ногу с дырявым носком на пятке. Окно в половину высоты было как зашторено парнем. Надо ж таким вымахать. И ведь семнадцать только. Что дальше-то будет? Антонина поглядывала. И еще курит там, мерзавец. Для проформы уже только прячется. По традиции. Дым-то весь сюда тащит! Эй, Штора! Когда бросишь курить? Какая штора? – обернувшись, удивлялся сынок. С глазами от табака – закофеенными, как у барана. Когда бросишь, осел? Сынок сразу начинал будить прах отца. Дескать, его-то не пилили. Свободный, дескать, был человек. Ему некоторые тут даже табачок сами покупали. Так ведь погиб от этого, погиб! Не табак проклятый, был бы жив сейчас! Неужели непонятно? Сынок отворачивался, что-то бубнил. Глаза матери метались. Тут еще носок этот его! Будто мозоль на пятке порвал. Ну-ка снимай давай! Чего? – опять смотрели бараньи глаза. Носок, черт тебя дер! Сын отворачивался. Говорил, что сам. Я тебе дам «сам»! Я тебе дам! Мать уже тыкала в затылок сына кулачком. Тыкала. Бросишь курить, бросишь! Словно сон, отпущенная папироса летела со второго этажа. Сашка поднимал к лицу матери пустые лапы и ворочал ими. Как неуклюжими двумя фокусами: нету! И не было! Со смехом ждал, когда ему мазнут по затылку. Мазнули. Хорошо, надо сказать.

Сашка смотрел вдаль. День уходил. Солнце пало в осенний пустой почти тополь. Как запьяневший дед в свои разложенные погремушки на базаре... Встречаясь на улице с бывшими своими одноклассниками, Сашке, рабочему вроде теперь человеку, становилось как-то неудобно с ними, скучно. Все они были его сверстниками, одногодками, некоторые даже старше, а казались сейчас глупыми пацанами, малолетками. Со всеми их микросхемами, пайкой самоделок-приемничков на транзисторах, со всеми их рыбками, аквариумами, дафниями там какими-то, опарышами... Неинтересно все это стало Сашке. (Такие лбы – и всё в бирюльки

играют.) Посматривал снисходительно, свысока... Зашел как-то к Парчину Генке. К дружковому товарищу, с которым просидел на задней парте не один год. И тоже – говорить стало вроде не о чем. На стене все тот же обнажившийся чудовищный оковалок с маленькой циклопией головенкой, подстриженной ёжиком. Патлачи по-прежнему бренчат на целом обезьяннике электрогитар. Гоночные автомобили на глянцевых листах из иностранных журналов. Так называемые болиды. Горбатые. Будто сраженные верблюды. Рекламные девки заплелись на их капотах зазывающе... Везде по столу вороха магнитофонной ленты, кажущиеся уже ворохами мозгов самого Генки. Без всякой боли вытащенными из его головы. Из пустой головы фаната... «Сейчас я тебе поставлю Пола Маккартни! Нового Пола Маккартни!» Худенькие ручки Парчина уже накручивали там чего-то в магнитофоне. А зачем, собственно? Дурило?.. Глядя сейчас на суетящегося несчастного фанатика, бродила у Сашки не по возрасту «гениальная» мысль: магнитофон все-таки – величайшее изобретение 20-го века. Все глухонемые – во всем мире – разом – как бы заговорили и запели на нём. И с каждым годом их становится больше и больше. Этих глухонемых, вроде бы обретших теперь песенные голоса, речь. Великий Глухонемой родился в 20-ом веке! А? Парчин? Через полчаса Сашка ушел.

За большую физическую силу, за большие кулаки Сашку заманивали в свои компании так называемые *весёлые*. Из тех, что бегали по городку в болтающихся штанах и войлочных стоптанных тапочках. *Гопники*, как их впоследствии назовут. («Гоп со Смыком – это буду я!») Были уже и тогда такие в школе. Заманивали, чтобы в драках, к примеру, выставлять Сашку вперед. Вроде градобойного орудия... Однажды выставили. В горсаду, на танцах... Больше не выставляли и не звали. Потому что бил там всех подряд. И чужих, и своих. Почему-то не разбирая. Вспоминать даже не хочется. Сашка вздохнул, полез за папиросами. Окутался дымом, даже не укрывая его от матери... Солнце, протрезвев чуток, вроде как с карачек пыталось встать. И снова падало в тополе... С Колькой даже, с двоюродным – всегдашним братом Колькой – и то перестало ладиться. Потому что натуральным жлобенком стал теперь Колька. Чего-то там выменивает в школе, продает. Деньжатами всех ссужает. Что называется, под процент. Все ему должны. Даже из старших классов ослы. Кличку какую-то дурацкую получил – Гуслей-Гуслея. (Кто это такой?) Шкет, а в джинсах вдруг заявился. Как в двух мраморах негнущихся каких-то. И – как главную жизненную тайну уже постиг. Уже всё в жизни знает. Хихикает, подначивает: работяга! Ну работяга. И дальше – что? Чего смешного-то? Дурило? Гуслей-Гуслея!

Сама, толкнув головой ворота, во двор входила лошадь с телегой. На телеге, весь как переломанная мебель, подпрыгивал запрокинувшийся Мылов. За розовой потной головой завивались мухи. Лошадь останавливала телегу на середине двора, на вид всему дому. Обиженно ждала. И, как когда-то Сашка с Колькой, вокруг пьяной, в мухах головы уже ходили две-три злорадненькие головенки. Удерживающие смех. Готовые от смеха – разорваться. Сашка махал им со второго этажа. Рукой отмахивал, рукой. Мол, отвалите, сгиньте пока не поздно. И точно ждала только этого – кидалась к другому окну Антонина: «Вы отойдете от него, а? Отойдете? Хотите чтоб глаза вышиб?» На голос Антонины Мылов пытался вылезать словно бы из самого себя. Залепленно-пьяного. Как задохлик птенец из скорлупы. От падающей головы, как от халвы, столбцом подкидывались мухи. И снова опускались...

Выходила Черная, жена Мылова. «Ну-ка!» – только глянула – и пацанята стреканули в разные стороны. Зачерпнув из бочки, размашисто выкидывала на телегу ведро воды. Взбрыкнув, Мылов вскидывался. Очумело смотрел, как жена шла от него с пустым ведром к крыльцу. С высоко засученной сильной рукой – как с кистенем... Лошадь тащила мотающегося сбоку коновозчика к сараям, к коновязи. Спать в сарай Мылов лез как в слепоту. «Ну, сегодня хоть драки не будет». Антонина шла от окна. «Куроцапы проклятые!»

В углу всё мигал телевизор. Мешал. Двинулась к нему, выключила. Опять вернулась к столу. Продолжила чинить. Теперь уже обремкавшиеся рукава. Прислушивалась к звукам двора.

Судя по прилетевшим снизу словам «привет, Село» и по тому, как Сашка сразу завилял пяткой, словно бобик хвостом, чуть не вываливаясь наружу, – во двор из своей квартиры вышел Стрижёв. Офицер Стрижёв. Вообще-то больше мотоциклист. Вернее даже – мотогонщик. Непременный участник всех республиканских мотокроссов. По пересеченной местности. Когда он ходил в свою автороту работать – никто понять не мог. Он словно постоянно пребывал в отпуске.

Днем все время занимается мотоциклом – разбирает, детали любовно раскладывает на холстины, любит ими вместе с ребятами двора, снова принимается собирать. Вечером гоняет с девицами. Но почему-то только с длинными. Проносится с ними как со знаменами. Уже за тридцать, а не женат. Пустырь. Бабник. Балалайка. Пытался подкатываться, гад. Антонина хмурилась. Виновато поглядывала на Константина Ивановича. На умершего мужа. Который доверчиво смотрел на нее со стены, с фотопортрета. Ничего не подозревая. Вздыхала.

Судя по тому, что рваная пятка завихлялась еще сильнее – час Стрижёва настал: он внизу уже натягивает краги. Экипирован соответственно: черные, начищенные до блеска сапоги, узкое офицерское галифе, но с кожаным задом (отдавал специально, подшили в ателье), из чертовой кожи там же пошитая куртка, на голове – шлем остроносый.

Из сарая Стрижёв выводил мотоцикл. Полностью реконструированная – система больше походила на какого-то громадного никелированного Геральда. Очень гордого к тому же. Резко Стрижёв заводил. Начинал прогревать. Как за ухо Геральда наказывал. Геральд трясся, подпрыгивал от боли. Двор становился сизым от дыма. «Закрой окно!» – кричала Антонина. «Пусть», – улыбался, наблюдая, Сашка. Дальше со Стрижёвым сюжет ехал со двора на улицу. На другую сторону дома. Однако оставался для Сашки и Антонины всегда предсказуемым. Первый кадр фильма. Прежде всего Стрижёв видит на противоположной стороне улицы Зойку Красулину. Возле её калитки. Зойка смотрит вдаль, к закату, привычно ждет (уже в течение лет пяти) своего Суженого. Заодно Зойка грызет семечки. Волосы ее свисают до пояса как сырой виноград. Стрижёв начинает подкрадываться на малых оборотах. Останавливается, широко расставив для баланса ноги. Как кот, черные начинает нагнетать перед Зойкой хвосты. Дергает, дергает ими, нагнетает. Зойкины виноградные грозди остаются покойными. В вечерней отдыхают прохладе. Стрижёв из последних сил нагнетает. Однако Зойка, перестав грызть, скидывает с губы кожурки. Шелуху Зойка просто сбрасывает на землю перед Стрижёвым. Стрижёв катится от нее как с горки, растопырив ножки, не веря. И – врубает газ. И – уносится пригнувшись. С острым шлемом устремленный. Как пика, пропарывающая городок.

Дубль второй. Можно снимать через три минуты. Стрижёв пронесился с длинной девачой за спиной. Как с обдерганной бурей на конце палки. Никакого движения со стороны Зойки. Чуть погода Стрижёв опять летит. Деваха еще выше. Другая! Зойка не видит, лузгает семечки.

А-а! С горя мотоцикл пропарывает городок и ныряет в рощу. Где дубы стоят любвеобильные, как гигантские карлицы на сносях. И – тишина над рощей. И – только слепнущие вечерние птички перепутывают рощу тенькающими осолнченными голосками.

5

...В тумане утра у дороги торчала гаишная освещенная голубятня. Однако наверху голубей видно не было. Лишь один прогуливался внизу, на воздухе. Одиночные машины прямо-таки прокрадывались мимо него. Как нашкодившие псы с поджатými хвостами. Гаишник морщился, воротил лицо: сгиньте! Тогда наматывали и наматывали. Уносили ноги. Внутренне крепясь: чур! чур меня!.. Новоселов гнал, не сбавляя скорости. Гаишник тут же замахал палкой. Засвистел, бросился было к мотоциклу. Однако Новоселов затормозил. «Ты чего же это, собака, – по Москве так гоняешь?!» (Дескать, в таком виде?!) Бил палкой по бортам. Весь в растворе, грязный самосвал трясся как только что вылезший из болота черт. Новоселов подсунул путевку. Гаишник побегал глазами... «Так бы и говорил... что на Олимпийский объект... А то – газуешь...» Голубь обиженно пошел к своей голубятне.

Новоселов погнал дальше. Хохотал как сумасшедший...

...Учебники и тетрадки Сашка раскладывал дома на столе вроде как по-деловому. Как достаточно уверенный в себе, обстоятельный ученик. Пытался даже начинать с примеров по алгебре... С тоской смотрел в окно. Голые ветки бузины волюнили, увивали от ветра. Откладывал алгебру. Получалось – сделал. Когда раскрыл физику – тоски не убавилось... Осторожно отодвинул учебник. Как, по меньшей мере, гроб с покойником.

Черные сырые ветви осенних тополей под усилившимся ветром – уже гнуло. Они начинали заполошно метаться. Казалось, что какой-то театр чертей изо всех сил представлял сейчас в черном проносащемся небе... Две собачонки выли, закидывались к нему головенками... Сашка распахивал окно. В лицо ударял острый запах прогорклых деревьев. Дымное небо всё несло куда-то. В клубящихся сумерках клёны Аллеи Славы спиртзавода раскачивались, будто сборище обгорелых знамен.

Сдвигалась доска в заборе, и – как ключ из замка – с территории завода начинал просовываться Мылов. «Головка ключа» выходила и удергивалась обратно. Никак не мог поймать «поворот в замке». Выдернулся, наконец, далеко вперед – и окончательно застрял. Свесившись с поперечины забора. В небе просверкнуло. Потом загремело. Упал отвесный дождь. Клёны возмущенно зашумели. Мылов сильно мок. Висел как слив. Дым от Сашкиной папиросы напоминал йогу. («Йоги – кто они?») Из комнаты, как из Индии, на холод не шел. Черная гроза была уже вдалеке. Широко просветлев понизу. Как будто высоко подняла подол. Чтоб в лужах на земле не замочить. Потом в упавшей темноте там же, у самого горизонта, как бабочки с крыльями, долго трепетали всполохи, немymi прищипливаемые молниями.

Даже не собрав раскиданных учебников-тетрадей, Сашка лежал в темноте в простенке меж окон, свесив с дивана ноги точно с детской коляски. Не чувствовала черных полотен холода лежащая у самого подоконника голова. Талантов в ней не было никаких. Это понять было не трудно.

Гремела чем-то в темноте у порога мать. Сашка оживлялся: ну, сейчас и напугаю ее! Но Антонина видела черный бурелом волос, восстающий на фоне окна. И хотя это происходило в который уже раз, торопливо предупреждала: вижу! вижу! И быстро включала свет. А! Испугалась! – вскакивал сын. – А-а!

К утру проветривало немного. И деревья, и землю. Солнца однако не было. Борзой, на улице всюду носился ветер. Не совсем облетевшие тополя походили на собак, вычёсывающих блох. Стайкой ушлых физкультурников вдруг начинали бежать по обочинам дороги листья. Ветер хватал женщин за подолы, заставлял зажиматься. Мужчины шли, упираясь как парусники.

Выбежавший на гору Сашка не мог вдохнуть всего мира, раскинувшегося перед ним. Зябла внизу взъерошенная река. За рекой вдали как при отступлении в распутицу бесконечно

уползали полчища октябрьских облаков. За протокой на острове шумела осенняя базарная толпа тополей... Сашка побежал по тропинке вниз, скользя по ней, чуть не падая, размахивая руками. Самоходка «Бирь» причалена была у берега в маленькой бухточке. В плаще с капюшоном, в резиновых сапогах шкипер Макаров уже стоял. Был при барже, как при гигантском бубне.

«Держи в створ!» – командовал Макаров. И Сашка, вцепившись в рулевое колесо, целился носом баржи на крохотную полосатую пирамидальную вышку, стоящую в километре на левом, приподнятом берегу – «держал в створ». Навстречу, казалось, недвигающемуся судну неслась тяжелая, набравшая дождей вода. Уходящие, выкрашенные в белое бакенá покачивались от волн «Бири» как ляльки.

Когда появлялось на фарватере встречное судно – баржа ли, катер, даже простая рыбацья лодка с рыбаком – Макаров тут же выскакивал из рубки и чересчур усердно, как добро-совестнейший смурняк, начинал махать флажком. С левого борта. Как будто в панике отрясал с матерьяла клопов или тараканов. Это так он *давал отмашку*. Еще тряс. Еще. Только убедившись, что его поняли, дождавшись ответного флажка (тоже с левого борта встречного), как всегда сразу бежал на середину палубы и – вставал. Во встречу-проводы. С профессиональным показным равнодушием равняясь на всё проплывающее мимо. Олицетворяя в единственном числе целый флотский экипаж... Встречный гудел. На встречном, ломая все устои флота, орали, хохотали, подпрыгивали. Точно видели Офураженный Пуп Земли. Проплывающий сейчас с пустым коровым выгоном. Абсолютно неподвижный. Не поддающийся ни на какие провокации.

Напротив абзалиловских озерков (названы по деревушке Абзалилово) Макаров приказывал Колыванову стопорить. Бросали носовой якорь. С кормы на таях спускали лодку. Колыванов и Сашка плыли к берегу: одному приказано было набрать шиповнику, другому добыть утку. Можно двух. Ствол удерживаемого Колывановым ружья торчал строго вверх. Осенний день был высоко развешен, звучен как железо. Холодное высокое солнце было мутно. Мутностью сплава.

Кусты по берегу раскачивало, гнуло. Ветер гнал реку как стада гусей. Низкорослый шиповник трепался, царапал, норовил уколоть, но забравшийся в самую гущу Сашка был в брезентовой куртке, таких же штанах. На руках – перчатки. Быстро наполнял висящий на груди котелок. Пересыпал затем в пожарное ведро под ногами. Не забывал швырять по нескольку ягод в рот. Переспелые, уже прихваченные первыми заморозками, плоды были на вкус медовыми, таяли во рту. Оставляя однако много занозистых семян, которыми Сашка отплевывался направо и налево. И во рту, и в руках дело шло споро.

Колыванов ходил на виду, метров за сто. Там сильно продувало. Видно было, как гоняло, выстилало воронками камыши. Колыванов бил в угон. Сорвавшийся выстрел, точно ветер, догонял и трепал утку.

Курили, в ямку спрятавшись от глаз Макарова. Оставалось добрать еще второе ведро. Добытых уток было две. Обе кряковые. Селезень и утка. У селезня-бедняги нос раскрылся. Точно все еще жрал или крякал. Утка лежала брошенно, серым кружком. Коротко затягиваясь, Колыванов просил Сашку походатайствовать за него. Намекнуть, так сказать, Макарову. Насчет Березовки. Чтоб остановиться, значит, перед ней. (Колыванов был из Березовки, где жил с женой и больным сыном, у которого сохла нога.) Хотя бы на часок. Чтоб сбегать до своих. Правда, останавливались в прошлый раз, но – все-таки. А, Саша? Как ты считаешь? Какой разговор, дядя Семен! Остановимся. Сашка затянулся, беспечно пустил дым по ветру. Никуда он не денется! Имелся в виду сам Макаров. Который уже поглядывал на часы. Уже метал икру на судне. Что они там? Спать завалились? Включал сирену. Курильщики разом вскидывались – начинали кланяться над шиповником. Планомерно собирать. Даже Колыванов...

На судне торопились. С лодкой, с якорем. Скорей трогались. Макаров подгонял. Полный, полный, Семен! А как же с утками? с шиповником? – недоумевал Сашка. Потом! Не сейчас! Не отходи от руля! На удивление нервничал Макаров. Всё вглядывался вдаль по реке. Чего-то ждал. Странный он какой-то сегодня. Вдруг повернул к Сашке большие испуганные глаза. «Сашка – в оба!» Выскочил из рубки – и отмашку начал давать совсем уж суматошно. Еще махал, еще. Однако встречное судно казалось неуправляемым. Шло какими-то длинными зигзагами. То к одному берегу его тянет, то уже к другому. «Да это же «Сим»! Ценёва! Дядя Толя!» – узнал Сашка. «Чего орешь, дурак!» – Макаров оттолкнул Сашку и быстро начал перекидывать штурвал на левый борт. Рулить к левому берегу. Надеюсь еще спастись. Однако встречный тоже потянул туда же. (Да что же это такое!) И уже приближался. Несмотря на строжайший запрет брать на баржи пассажиров («Правила судоходства», параграф 9), палуба была забита людьми. Наяривали две гармошки. Все плясали. Мужики прыгали вприсядку, женщины вертели платочки, визжали. То ли свадьба плыла навстречу «Бири», то ли проводы в армию. Вместо Ценёва в рубке мотался какой-то пьяный долган – учился рулить. А где Ценёв? Убит? Судно захвачено?

Баржа поравнялась с «Бирью». Свадьба еще пуще заплясала, загремела на железе. Проплывала мимо. На створчатой ставенке висела выкинутая из кубрика интимная женская голубая вещь очень большого размера, в порыве всесокрушающей страсти содранная с тещи и вышвырнутая Ценёвым в окно, в реку, но зацепившаяся, повисшая на створке. Как символ, как неотвязчивый флаг нашего речного Дон Жуана. Отдав штурвал Сашке, Макаров закачался. С глазами незаможного хохла. Дошедшими размером до колгопсту. Снизу выскочил Колыванов. У этого глаза были как люди. Как много людей. «Что, что такое?!» А когда увидел уплывающие (на створочке) обширные трусы, когда понял всё... смог только вымолвить: «Вот это козё-ол! ...»

Сашка валился на штурвал. Сашка подкидывался на штурвале. «Держи курс, пацан!» – заорал Макаров. Швабровая верхняя губа шкипера вздернулась, подрагивала. Шкипер точно надышался дряни. Отравился ею.

Ни о какой Березовке для Колыванова теперь и заикаться было нечего. Макаров зол был как черт. При приближении к ней (Берёзовке) – Колыванов поминутно выныривал из машинного отделения. Мотался над люком. С лицом обманутого Петрушки упал обратно. Макаров будто ничего не видел. Тогда Сашка начал высовываться из рубки по пояс. Показывая Макарову себя как укор. Дескать, что же вы, дядя Толя? Ведь Берёзовка уже. Вон же она, на высоком берегу. За стройным молодым березнячком. Всего полтора километра до нее. Нет! – отрубал Макаров рукой. На обратном пути. Всё. Баста. Вперед! Но... но что такое?! Машина вдруг начала стучать как-то не так. Даже не стучать, а уреженно стукать машина стала. С перебоями. Машина натурально издыхала. Вдобавок ко всему из люка вдруг повалил дым. (Да что же это такое-то?!) И заглохла машина. Окончательно...

Дым продолжал валить. Потеряв инерцию, баржа остановилась на течении. Течением же ее повело назад, разворачивая к берегу. «Отдай носовой, Сашка!» Сашка помчался. Якорная цепь завизжала, улетающая в горловину. Уперев руки в бока, Макаров молча стоял над открытым машинным отделением. Колыванов внизу метался. Что-то подливал. Маслёнил. Аккуратно подпускал. Дергал какие-то рычажки. Чего-то там заводил...

«Пусть одну утку возьмет», – пробурчал неизвестно кому Макаров. Уже из рубки. Сашка кинулся, хотел сбросить трап. Но Колыванов уже бежал в березовом высоком палочнике. Бежал большими прыжками, с уткой, как какой-то куроцап.

Поздно вечером, когда останавливались на ужин, на палубе сначала словно бы шел фильм «Семья Журбиных». Или другой подобного рода. К примеру, «Не кочегары мы, не плотники». «Почему нейдёшь к товарищу Добросмыслову? Почему?» – подступался Колыванов. (Он же Сашка Басманов.) «Я не доносчик! – с достоинством отвечал Макаров. (Он же Журбин-стар-

ший. В исполнении артиста Бориса Андреева.) – Сам шею свернет...» – «Так ведь прежде судно погубит! – наседал Сашка Басманов. – Не дай бог, людей! Чего ждешь?» Макаров-артист-Андреев молчал. «А!» – махал рукой Басманов в исполнении Колыванова Семена.

Дальше нужно было идти в кубрик, где Сашка уже разливал по мискам *шулюм*, сваренный из утки. Из второй. Потоптались, пошли. Ели при свете керосиновой лампы. Осенний селезень, он – того, говорил Колыванов, обсасывая косточку. Он намного жирнее весеннего. Сочнее. Верно, Анатолий? Угу, соглашался Макаров. Сашка им подливал. Сам наворачивал...

Первую половину ночи за рулем стоял вахту Сашка. По реке было темновато. Луна светила только в облаках. Как будто фонарем в театре. Сашка, вцепившись в колесо, тарачился, смотрел, что называется, в оба.

При появлении высокой мерцающей мачты встречного – как будто Христа, плывущего по темному небу с распахнутыми руками – Сашка быстро закреплял руль, хватал фонарь – и точно светящие сумасшедшие молоты начинали летать с левого борта баржи. Более сумасшедшие даже, чем у дяди Толи. Кидался в рубку. К штурвалу. Встречный, тоже махаясь светящими молотами, проходил *лево*. Сашка снова выскакивал, падал к люку машинного. С чубом – как велосипедные пружины. «Не спишь, дядя Семен?» Колыванов смеялся над взвинченным, суматошным парнем, которому в первый раз доверили ночную вахту, ночной штурвал. Уж сегодня-то он точно не уснет! Гуттаперчевые руки лежали на машине. Были доверены ее дрожащему, черно-маслянистому телу. Чуб исчезал. В три часа ночи выходил на вахту Макаров. Колыванов и Сашка уходили спать. Помимо руля, дядя Толя управлялся и с машиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.